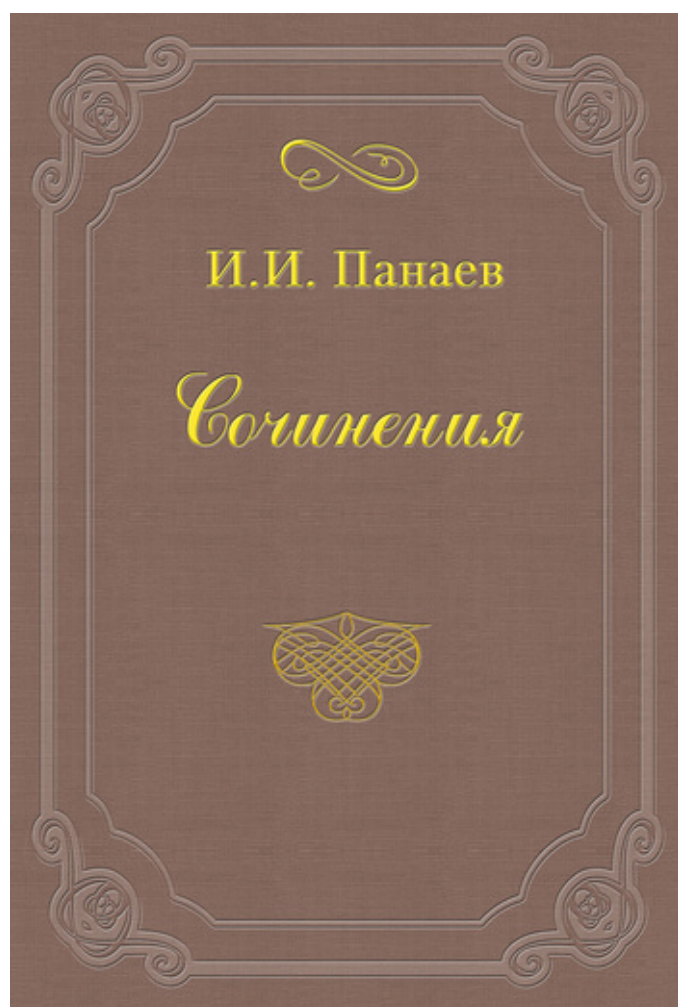




Иван Иванович Панаев

Родственники

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=660015

Аннотация

«В селе Благовещенском числилось 232 души мужеска пола. Село Благовещенское принадлежало шестерым владельцам, из которых три имели в нем постоянное местопребывание: холостой и отставной армейский поручик Брыкалов, лет сорока; неслуживший дворянин Ардальон Игнатьич Стойковский, пятидесяти девяти лет, отец многочисленного семейства и слуга супруги своей Агафьи Васильевны, барыни толстой, с бельмом на правом глазу, – и, наконец, сестрица Ардальона Игнатьича – Олимпиада Игнатьевна, вдова лет пятидесяти шести, не без основания пользовавшаяся уважением всего околотка за свои нравственные и религиозные правила...»

Содержание

Глава I	4
Глава II	10
Глава III	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Иван Иванович Панаев

Родственники

Глава I

В селе Благовещенском числилось 232 души мужеска пола. Село Благовещенское принадлежало шестерым владельцам, из которых три имели в нем постоянное местопребывание: холостой и отставной армейский поручик Брыкалов, лет сорока; неслуживший дворянин Ардальон Игнатьич Стойковский, пятидесяти девяти лет, отец многочисленного семейства и слуга супруги своей Агафьи Васильевны, барыни толстой, с бельмом на правом глазу, – и, наконец, сестрица Ардальона Игнатьича – Олимпиада Игнатьевна, вдова лет пятидесяти шести, не без основания пользовавшаяся уважением всего околотка за свои нравственные и религиозные правила. У Олимпиады Игнатьевны были сын и дочь – Петруша и Наташа. Петруше было лет девятнадцать, Наташе двадцать два года.

Из 232 душ села Благовещенского, Брюхатово тож, 62 души принадлежали Олимпиаде Игнатьевне, 85 душ ее брату, 45 поручику Брыкалову, а остальные за тем другим владельцем, о которых упоминать здесь не для чего. Три барские дома красовались в разных концах села Благовещенского. Впрочем, красовался, собственно, только один барский дом, принадлежавший Ардальону Игнатьичу, потому что этот дом был обит тесом, выкрашен краской и находился на самом завидном месте, то есть на небольшой площадке против церкви. Дом Олимпиады Игнатьевны был не то чтобы совсем дом, а так, что-то среднее между домом и избою: старый, не обшитый тесом, он стоял, одинокий и мрачный, покачнувшись набок, на самом конце деревни. Ни одного дерева, ни одного кустика не было кругом его – только сзади двор, обнесенный плетнем, голый двор, выжженный солнцем и скользкий во время летней засухи, как паркет, а на дворе три или четыре людские избушки, также дряхлые. Поручик Брыкалов жил просто в большой крестьянской избе, крытой соломой.

Грех сказать, чтобы владельцы села Благовещенского жили в любви и мире. Нога Ардальона Игнатьича три года не переступала порога его сестрицы Олимпиады Игнатьевны... И хотя он, по своему кроткому и богобоязливому характеру, каждый год на страстной неделе покушался примириться с нею и каждый год начинал к ней письмо следующими строками: «Милостивая Государыня любезнейшая сестрица.

Приступая ныне к великому Делу с подобающими истинному Христианину чувствами нелицемерного смирения и покаяния в своих проступках и вместе с тем, так как Родственные наши отношения поколеблены... то...»

Но на этом то Агафья Васильевна всякий раз ловила его, выхватывала у него начатое письмо и рвала в мелкие кусочки.

Родственное согласие Ардальона Игнатьича и Олимпиады Игнатьевны, возмущавшееся довольно часто Агафьей Васильевной, окончательно было прервано на любовном размежевании за какой-то клочок неудобной земли. Этот клочок Агафья Васильевна ни за что не хотела уступить Олимпиаде Игнатьевне, Олимпиада же Игнатьевна, в свою очередь, ни за какие блага не хотела уступить Агафье Васильевне. Таким, образом, несмотря на неимоверные усилия посредника, любовное размежевание земли села Благовещенского до сих пор не состоялось. Долг справедливости заставляет, впрочем, заметить, что не одни Агафья Васильевна и Олимпиада Игнатьевна были препятствием к любовному размежеванию. Поручик Брыкалов почему-то твердо вознамерился присвоить себе 4 /2 десятины земли под строевым лесом, бесспорно принадлежавшие Ардальону Игнатьичу, и, несмотря ни на какие доводы, объявил торжественно, что он слышать ничего не хочет, что хоть до ножей дело дой-

дет, а он не уступит эти 4 /2десятины. Рассказывали также (за достоверность этого я не могу, однако, поручиться), что поручик неоднократно подсылал крестьян своих по ночам рубить лес Ардальона Игнатъича и что Агафья Васильевна, завидев однажды из окна Пантелея, старосту поручика, изволила выбежать сама на двор в одной кофточке (некоторые злые языки уверяют, что даже и без кофточки) и с грозивши телодвижениями закричала вслед ему:

– Скажи, мошенник, своему барину, чтобы он мне, грабитель, не показывался на глаза, а не то я ему все его тараканьи усы выщиплю! Слышишь?..

Говорили, что Пантелей передал это поручику от слова до слова и что поручик, выслушав Пантелея, очень хладнокровно заметил:

– А вот погоди она у меня, я ее, каналью, затравлю собаками.

Говорили также... но нет возможности передать всех рассказов друг о друге владельцев села Брюхатова. Этим рассказам не было бы конца. И благодаря только им обнаруживались кое-какие признаки жизни и движения в селе Брюхатове... Так поверхность стоячего болота, подернутого зеленоватою плесенью, возмущается только тогда, когда мальчишки, забавляясь, бросают в него камешки.

Село Брюхатово не могло похвалиться живописными видами. Оно было расположено на ровном и низменном месте, у речки Векши. Эта речка несколько оживляла грустные и однообразные его окрестности. Блестящая, как лезвие меча, искусно выполированное, она быстро и весело сверкала и извивалась кольцами, как змея, среди тучных, но плохо возделанных пажитей, нисколько не гордясь тем, что сливала воды свои с водами одной из величайших и красивейших рек в мире. Вправо от селения, у самого горизонта, показывался мелкий лесок на возвышении. На расстоянии семи верст в окрестностях не было ни одной горки, а только небольшие покатоности и едва заметные холмы. Удобнее этой земли в хозяйственном отношении невозможно было желать.

И если бы село Брюхатово было в одних и, как говорится, хороших руках, оно, вероятно, приносило бы значительные выгоды, но раздробленное на мелкие участки, при чересполосном владении, при беспрестанных распрях совладельцев, при ежедневных ссорах и драках разнопомещичьих крестьян, подобно господам враждебно смотревших друг на друга; при самой отчаянной бестолковости в управлении – оно находилось в жалком состоянии. Полуразвалившиеся избы, на которые безобразно навалены были кучи соломы, сгнившей и почерневшей от времени, растасканные и разрушенные плетни, нечистота на улицах, грязные и оборванные ребятишки, полунагие бабы вместе с поросятами и свиньями – все это вместе производило грустное и тяжелое впечатление.

Всегда печальное, еще печальнее обыкновенного казалось село Брюхатово в тот весенний вечер, походивший, впрочем, более на осенний, с которого начинается наше повествование.

Серенькое небо, мелкий и частый дождь, однообразный скрип обломанных крыльев ветряной мельницы, вой дворной собаки, все страшно действовало на нервы и наводило тоску нестерпимую.

Наташа – дочь Олимпиады Игнатъевны, сидела у окна и смотрела на мальчишку – пастуха, который, по колена в грязи, измокший до костей, дрожа от холода и голода, с длинной хворостиной в руке гнал стадо овец и баранов мимо барского дома.

Наташа была недурна собой, высока и стройна. На ней было ситцевое платьице с вырезкой на груди, со шнурками и кистями, и сверху немного засалившаяся черная кацавейка, обшитая кошачьим мехом... Она все продолжала смотреть в окно, хотя мальчик, гнавший стадо, давно прошел и хотя смотреть уж решительно было не на что. Потом она немного задумалась, облокотилась головой на руку и... зевнула.

Вслед за тем в углу той же самой комнаты послышался долгий и глубокий вздох.

В этом углу на диване у печки сидела маменька Наташи, в белом чепце и в темно – плюсовом капоте.

– Что это, матушка, ты уселась тут у окна? – произнесла маменька печальным и болезненным тоном. Иначе она не говорила.

– Что-с?.. – спросила рассеянно Наташа.

– Ах, боже мой, что ты, оглохла, что ли?.. я спрашиваю тебя, зачем ты уселась у окна?

– Да отчего же мне не сидеть тут?

– Хоть бы занялась чем-нибудь.

– Да чем же мне заняться, маменька?

– Чем? – проговорила Олимпиада Игнатьевна, – ну, коли нет никакой работы, хоть бы чулок вязала. Все занятие.

Затем последовало молчание.

Дождь продолжал стучать в стекла. Наташа еще раз зевнула.

Олимпиада Игнатьевна, глядя на нее, также зевнула и прошептала со вздохом:

– Ах, боже мой!.. Ах, господи, боже мой! – и перекрестила свой рот.

Через минуту она снова обратилась к Наташе:

– Да что это ты зеваешь беспрестанно, Наташа?

– Скучно, маменька.

Олимпиада Игнатьевна печально покачала головой.

– В твои лета мы не умели и не смели скучать, – проворчала она. – Так ты скучаешь с матерью?

На глазах Олимпиады Игнатьевны показались слезы. Она, подобно многим барыням, владела искусством вызывать слезы при всяком удобном случае.

Наташа хотя и привыкла к такого рода слезам, но, несмотря на это, считала обязанностью в таких случаях бросаться к маменьке, утешать ее и целовать ей ручки.

– Маменька, душенька! что это вы! полноте! Как вам не стыдно!.. Мне так просто скучно, я сама не знаю отчего, а с вами, маменька-с, как это можно! с вами мне никогда не скучно.

На слова Наташи Олимпиада Игнатьевна улыбнулась с приятностью, хотя вполне была убеждена, что Наташа лжет и что она скучает с нею.

– А который час, Наташа?

Наташа побежала в соседнюю комнату, в которой тяжело шипели стенные часы.

– Половина седьмого, маменька-с, – закричала она.

– Ну, коли половина седьмого, так вели Марфутке собирать к чаю да позови эту негодницу Феньку... Где она там это бегаёт, скверная девчонка?

Олимпиада Игнатьевна вздохнула. Она каждое слово сопровождала или вздохом, или легким стоном.

Явилась Марфутка, распространяя в комнате запах коровьего масла, которым она мазала волосы. Марфутка собрала все, что следует, к чаю. За Марфуткой явился Ларька, низенький и пожилой мальчишка, в грязных сапогах, в которые были заправлены синие кумачные панталоны, – и поставил на стоп нечищенный самовар. Вслед за Ларькою показалась двенадцатилетняя девчонка Фенька, обстриженная под гребенку, в тиковом платье с талией под мышками и в башмаках на босую ногу. Фенька неотлучно находилась при барыне для посылок и, стоя у дверей, вязала обыкновенно толстый и засаленный чулок, а иногда дремала, прислонясь к стене, но и во сне все-таки шевелила спицами. Олимпиада Игнатьевна побранила Феньку, объявила ей, что если она вздумает еще раз убежать, то она ее, как собачонку, привяжет на веревку к двери, и в заключение прибавила, что уж здоровья ей нестает управляться со всем этим народом. Затем все пришло в обыкновенный порядок: самовар

закипел, Фенька прислонилась к стене и зашевелила спицами; Наташа принялась разливать чай. К чаю явился Петруша.

Петруша в семнадцать лет корчил человека, все понявшего и разгадавшего. Никакие вопросы не останавливали его: он разрешал их легко и смело. Он говорил без умолку и с жаром обо всем: о Байроне, о Сен-Симоне, о Фурье, о гегелевском примирении и о том, что некоторое время он находился в моменте распада и сделался вполне человеком только тогда, когда вышел из этого момента. Петруша не читал ни Сен – Симона, ни Фурье, ни Гегеля; о Байроне он имел слабое понятие по кое-каким русским и французским переводам. Всю свою мудрость Петруша почерпал из русских журналов. Людей четырьмя или пятью годами старше себя он без церемонии причислял уже к старому поколению и говорил: «Нет, они не в состоянии понять нас, они не могут сочувствовать нашим интересам. Они отстали!» Года три он готовился в Москве к университету, но, не выдержав вступительного экзамена, возвратился восвояси и зажил преспокойно в селе Брюхатове, почитывая журналы, пописывая стишки в гейневском роде (этот род был тогда в моде), покуривая трубку и посматривая на всех окружавших его (не исключая и маменьки) с иронической улыбкою.

Когда Петруша вошел в комнату, задумчивый и бледный, Олимпиада Игнатьевна обратилась к нему с нежностью.

– Ах, Петенька, – сказала она, вздыхая, – ты все занимаешься! побойся бога, ведь у тебя грудь слаба, дружок.

Петруша, ничего не отвечая, закурил трубку и развалился в креслах.

– Да что ты такой скучный? – спросила она его с беспокойством.

– Ах, да ничего, отстаньте, пожалуйста. Олимпиада Игнатьевна беспокойно посмотрела на него.

Напустив дыму полную комнату, Петруша встал с кресел и начал прохаживаться по комнате, мрачно завывая себе под нос:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!..

– Ваш чай, братец, совсем простынет, – сказала Наташа.

Петруша, ничего не отвечая, подошел к столу, отпил немного из своего стакана, пустил изо рта еще тучу дыма и потом снова стал прохаживаться по комнате, продолжая завывать стихи. Фенька, шевеля спицами, смотрела на него, вытараща глаза. Наташа начала рассказывать маменьке только что перед этим выслушанную ею от Федоры – ключницы новость – о том, как дяденька Ардальон Игнатьич, по приказанию тетеньки Агафьи Васильевны, очень строго наказал своего кучера Петрушку и непременно решил отдать его не в зачет в рекруты; о том, как тетенька очень сердилась на дяденьку за то, что он избаловал всех людей, как дяденька оправдывался перед тетенькою, и прочее. Олимпиада Игнатьевна не без удовольствия и с большим вниманием слушала рассказы Наташи, от поры до времени только тяжело вздыхая и пожимая плечами... Наташа, несмотря на все ее достоинства, имела небольшое поползновение к пересудам и сплетням, общее всем деревенским барышням.

Она отличалась от своих подруг тем, что была большая охотница читать. Она прочла почти все французские романы в переводах.

Чтение, хотя довольно бестолковое, способствовало все-таки развитию ее понятий. Но многое в книгах перетолковывала она странно, по-своему; многого совсем не понимала, а объяснить было некому. Наташа все таила в самой себе и никому не доверяла своих мыслей и ощущений.

Петруша считал ее пустой девочкой; он говорил, что у нее «одна из тех будничных натур, на которые природа не скупится», и только так иногда, из милости, читал ей свои стихи.

С маменькой Наташа не была откровенна.

Олимпиада Игнатьевна, несмотря на доброту свою и привязанность к дочери, всегда смотрела на нее с высоты своего родительского величия. Сыну она позволяла иметь какой ему угодно образ мыслей, ни в чем не стесняла его свободы и даже подчиняла себя его желаниям; но с дочерью поступала деспотически. Дочь, по ее понятиям, не могла, не должна и не смела иметь своей воли, своего образа мыслей. Наташа рассуждала с маменькой только о домашнем хозяйстве да развлекала ее рассказами и сплетнями о дяденьках, тетеньках, о сестрицах и братцах, о соседях и соседках...

Когда Наташа передала Олимпиаде Игнатьевне все новости о дяденьке и тетеньке, Олимпиада Игнатьевна, не пропустившая ни одного слова из ее рассказа, тяжело простонала:

– Бедный братец! бедный братец! погубили тебя, искоренили в тебе все родственные чувства, голубчик!..

– Уж есть о ком жалеть! – перебил Петруша.

– А как же не жалеть, дружочек? Если б он был нам чужой – дело другое, а то ведь он самый близкий наш родственник, ведь он родной брат мне, Петруша; родной дядя тебе...

Петруша, все продолжавший ходить по комнате, при этом возражении маменьки вдруг остановился и ударил кулаком по столу.

– Дядя! дядя!.. – повторял он. – Да что ж такое дядя?.. Я этого решительно не понимаю... Ваши родственные предрассудки меня возмущают...

И Петруша принялся доказывать маменьке, что одно кровное родство ничего не значит, что есть родство другое, высшее, духовное – единственное, которое может допустить человек мыслящий и развитой, что он ни с дядюшкой своим и почти ни с кем из родных ничего не имеет общего, что они находятся в состоянии диком и более походят на зверей, чем на людей.

Олимпиада Игнатьевна слушала сына, сомнительно покачивая головою.

Когда Петруша кончил, она возразила:

– Это может быть так по-вашему, по-нынешнему, а по-нашему не так.

Петруша рассердился. Он непременно хотел поставить маменьку на ту высшую точку, с которой сам смотрел на этот предмет, и продолжал беспощадно уничтожать маменькины предрассудки и доказывать нелогичность ее образа мыслей. Олимпиада Игнатьевна слушала его, не понимая ни слова, и между тем следила за Фенькою, которая начинала, по своему обыкновению, дремать, прислонясь к двери, и грозила ей пальцем.

А Петруша все ораторствовал. Наконец Олимпиада Игнатьевна решилась прервать его.

– Друг мой Петенька, – сказала она, – ты бы лучше прочел мне свои последние стихи. Ты знаешь, мой ангел, как я люблю все твои сочинения.

На лице Петруши при этих словах выразилась горькая, ядовитая улыбка. И когда маменька повторила в другой раз о стихах, он нехотя продекламировал:

Она сидела с думой тайной,
А ветер листья шевелил.
И лик ее так мрачен был,

И взор ее упал случайно
На желтый, высохший листок;
Вдали, посеребрен луною,
Сквозь темный лес сверкал поток...
Она кивала головою.
И вздох ее был так глубок!

От стихов маменька была в восторге и расцеловала за них Петрушу, прибавив однако ж:
— Зачем только ты пишешь, голубчик, все такое печальное?

Потом Олимпиада Игнатьевна выдрала Феньку за уши и послала ее за Ларькой и Марфуткой. Когда Ларька и Марфутка убрали чашки, в комнате снова водворилась тишина. Петруша молчал и курил трубку. Наташа машинально перебирала листы старого календаря, лежавшего перед ней на столе. Олимпиада Игнатьевна, закутавшись в платок, охала и кряхтела у печки... Только дождь все стучал в окна.

Вдруг раздался отдаленный звон колокольчика, и все встрепнулись невольно при этом звоне. Петруша приподнялся с кресел, Олимпиада Игнатьевна и Наташа вздрогнули, все в один голос вскрикнув: «Кто бы это?», и в недоумении посмотрели друг на друга.

Глава II

Колокольчик между тем приближался, заливаясь звучней и звучней... Наташа вскочила с дивана, бросилась к окну, и сердце ее забилося шибко. Отчего? Не ждала ли она кого-нибудь? Нет! кого бы ей ждать: соседи и соседки их были противные, по ее собственному выражению, родственники скучные, а, кроме соседей, соседок и родственников, приехать некому. Правда, Наташа была довольно дружна с одной из своих двоюродных сестриц, но эта двоюродная сестрица жила от них верстах во ста и ездила к ним очень редко, потому что больная тетка не отпускала ее от себя. Сестрицы она не могла ждать; но Наташе было все равно, – лишь бы кто-нибудь приехал, хоть кто-нибудь из противных, – все бы веселее, все бы легче, все какое-нибудь развлечение.

– Ах, маменька, – радостно вскрикнула Наташа, глядя в окно.

– Что такое?.. Кого нелегкое принесло в этакую погоду? – простонала Олимпиада Игнатьевна, как будто нехотя приподнимаясь с дивана в ту самую минуту, как: колокольчик задрезжал и смолк у самого подъезда, – теперь добрый хозяин собаки не выгонит со двора.

– Маменька, – продолжала Наташа, – посмотрите, какой чудесный тарантас, какие лошади! кто бы это?

– Братец Сергей Александрыч! – вскрикнул Петруша, – это он, право, он!

– Может ли быть? откуда же? как? – спросила Олимпиада Игнатьевна, оживляясь.

– И с ним еще кто-то, – заметил Петруша.

– Ах, маменька, в самом деле и еще кто-то! – закричала Наташа.

– Да неужто, в самом деле, это он? – повторила Олимпиада Игнатьевна, обращаясь к Петруше. – Вот неожиданный-то гость, признаюсь! – продолжала она несколько иронически, – прямо из-за границы, что ли, изволил прикатить к нам в глушь? Видно, уж все денежки прокутил, голубчик! Наташа, брось свою кацавейку-то, – надень какой-нибудь платочек на шею, а то ведь тебя, глупую провинциалку, как раз осмеют. Ведь Сергей Александрыч, матушка, не то что мы, дикари: он человек столичный, светский, за границей жил, в Париже был.

В передней между тем послышался шум. Ирония исчезла с лица Олимпиады Игнатьевны и мгновенно сменилась выражением истинно родственного восторга. С этим выражением бросилась она в переднюю навстречу к племяннику.

– Друг мой, друг мой!... – Она крепко прижала племянника к своему сердцу. – Вы ли это, батюшка мой? вас ли я вижу?.. Ах, какая радость! какая неожиданная радость! боже мой! боже мой!.. и как вы стали похожи на покойника братца! точно вот как будто он, голубчик, передо мною!.. Знаете ли вы, как он любил меня?

Олимпиада Игнатьевна рыдала без слез, припав головой к плечу родственника, обнимала и целовала его.

Положение Сергея Александрыча (ибо это, точно, был он) было затруднительно. Минут пять по крайней мере тетушка душила его в своих горячих родственных объятиях, а братец Петруша так крепко и значительно жал ему руку, что Сергей Александрыч единственно только из приличия не кричал от боли. Между тем Наташа, еще не замеченная братцем, стояла у входа в переднюю. Наташа накинула на шею розовый платочек – лучший платочек, какой только был у нее, надела чистую манишку и даже украсила руку блестящим браслетом. Она была в сильном волнении и смотрела на братца с робким любопытством. В то же время головы горничных девок попеременно высывались из полурастворенной половинки дверей. Ларька, выпуча глаза, разиня рот и почесываясь, смотрел на приезжих. Возле Ларьки стоял Петрович, буфетчик и дворецкий Олимпиады Игнатьевны, человек лет сорока, в нанковом сюртуке вердепомового цвета с пуфами на рукавах, с длинными завитыми висками, с огромным хохлом и с сережкой в ухе, – лицо важное в доме, пользовавшееся

еся полною доверенностью барыни. Он с проницательностью обозревал приезжих, изредка только побрякивая, чтобы обратить на себя их внимание. Но не успев в этом, он принял другие, более сильные меры и, дернув Ларьку за руку, произнес громко:

– Экая дурачина! Ну что же ты чешешься при господах? не видишь, что ли? ах вы, деревенские олухи, невежественная чернь!

Но и эта выходка не удалась Петровичу.

Голос его был заглушаем слезами, всхлипыванием, восклицаниями и другими нежными родственными излияниями.

Когда Олимпиада Игнатьевна наконец выпустила племянника из объятий, – он представил ей приехавшего с ним своего приятеля.

Затем все двинулись из передней в залу.

– А что Наташа? где же она? – спросил Сергей Александрыч у тетушки.

Наташа все еще стояла на том же месте; сердце ее забилося при этом вопросе: ей было очень приятно, что братец вспомнил об ней.

– Наташа! Наташа! – закричала Олимпиада Игнатьевна, – а, да вот она! Видите ли, как она переменялась; вы ее, чай, и не узнали бы...

– Здравствуйте, сестрица, – сказал Сергей Александрыч, взяв руку Наташи.

Наташа вся вспыхнула, у нее загорелись даже уши. Она неловко присела и прошептала что-то невнятно на это приветствие.

По дороге из залы в гостиную Сергей Александрыч шел рядом с Наташею.

– Как вы похорошели, – сказал он ей, – как вы выросли!

Наташа не знала, что делать, от замешательства – и кусала губы.

– А что, вы скучаете в деревне?

– Нет-с...

В гостиной, которая от других комнат отличалась только тем, что стены ее были выштукатурены и выбелены, все чинно расселись на диване и около дивана. Над диваном висели два родственные портрета без рамок, измалеванные крепостным живописцем и загаженные мухами. Перед диваном стоял неизбежный круглый стол.

– Вы, верно, прозябли в дороге, – сказала Олимпиада Игнатьевна, обращаясь к гостям, – какая погода-то!.. не прикажете ли горяченького?.. Наташа! Вели скорее ставить самовар.

Наташа выбежала из комнаты.

В девичьей она бросилась на стул и в первый раз свободно вздохнула.

Девки обступили ее.

– Вот, сударыня, – сказала одна из них постарше, – бог нам дал неожиданных гостей. Ишь какие два молодчика прикатили, – чай, сердечко-то, матушка, у вас так и ёкает теперь.

– Ах, Аннушка, Аннушка! – проговорила Наташа.

– Ну, что охать-то, сударыня? Братец-то какой добрый: женишка нам привез...

Девки засмеялись.

– Какой вздор, перестань, Аннушка!

– А нешто он вам не нравится?

– Кто?

– А барин-то, которого братец привез?

– Да я на него и не смотрела.

– И не смотрели! видите! как, чать, уж не посмотреть на такого красавчика? А знаете, матушка, ведь братец-то приехал в нашу сторону надолго. Вплоть до зимы, слышь ты, останутся.

– А ты почему это знаешь? – спросила Наташа.

– Уж коли мне не знать, матушка! Я все знаю.

– Оттого-то она, сударыня, так скоро и состарилась, что все знает, – возразила одна из них с усмешкою.

Между тем в гостиной Олимпиада Игнатьевна, вздыхая и охая, продолжала изливать свои родственные чувства перед племянником, а Петруша расспрашивал братца о заграничной жизни, о направлении умов в Европе, о литературных новостях, о Париже и Риме.

– Ведь он у меня поэт! – говорила Олимпиада Игнатьевна, с любовью глядя на сына и обращаясь потом к гостям, – сидит себе целый день в своей комнатке, никуда не выходит и все или читает, или сочиняет. Он пишет прекрасные стишки! Прочти, дружочек, которые-нибудь из них братцу.

Сергей Александрыч и его приятель с любопытством обратились к Петруше; но Петруша закусил губу, с досадою посмотрел на маменьку и отвечал, что на заказ он ни писать, ни читать не может.

Остальной вечер до ужина прошел незаметно. Сергей Александрыч был любезен. Он много рассказывал о своих путешествиях и о своей заграничной жизни. Наташа сидела против него, с величайшим вниманием и любопытством слушая эти рассказы. Она сделалась гораздо смелее и смотрела на братца уже без замешательства.

Ужин состоял, по деревенскому обычаю, из пяти или шести блюд с супом включительно, из которых почти ни одного нельзя было взять в рот. Сергей Александрыч и его приятель только из приличия брали понемногу на тарелку всего, что им подавали, но Олимпиада Игнатьевна при каждом блюде говорила им, вздыхая:

– Вы ничего не кушаете, так мало берете, – покушайте, мой голубчик. Конечно, наши деревенские блюда после парижских, – и прочее.

И гости должны были давиться и кушать.

После ужина скоро все разошлись, только Сергей Александрыч остался поневоле с тетушкой, потому что тетушка сочла необходимым передать ему с подробностями и со слезами о своей ссоре с братцем Ардальоном Игнатьичем, прибавив, что ссора эта решительно расстроила ее здоровье и что она скоро, может быть, сойдет в могилу, к утешению Агафьи Васильевны.

Расставшись наконец с тетушкой (это было уже за полночь), Сергей Александрыч отправился в назначенную ему комнату по небольшому, узкому и грязному коридору, который слабо освещался ночником.

В коридоре он встретил Наташу.

Наташа вздрогнула, увидав его.

– Ах, это вы, братец? – сказала она.

Братец очень приятно улыбнулся.

– Я, милая кузина. – Он хотел взять ее руку, но Наташа ускользнула от него и сказала:

– Прощайте, желаю вам покойной ночи, – хотела идти и вдруг остановилась.

– Знаете ли вы этот браслет? – Она указала ему на свой браслет.

– Нет, – отвечал Сергей Александрыч, – а чем он замечателен?

– Посмотрите хорошенько.

Сергей Александрыч взял руку Наташи и начал внимательно разглядывать браслет.

– Прекрасный браслет! – сказал он, поцеловав ее руку.

– Ну, а кто подарил его мне?

– Кто?

– Будто вы не знаете?

– Не знаю.

– Ах, боже мой, это вы же мне прислали его из чужих краев. Вы уж забыли? – прибавила Наташа с упреком.

– В самом деле? я?

В эту минуту где-то скрипнула дверь. Наташа еще раз произнесла:

– Прощайте, братец, покойной ночи! – и исчезла. «Какая милая!» – сказал про себя Сергей Александрыч.

Глава III

Но здесь я должен оставить на время Наташу и ее маменьку и обратиться к тем, которые так внезапно нарушили своим приездом однообразие и мир их деревенской жизни.

Сергей Александрыч, родной племянник Олимпиады Игнатьевны и двоюродный братец Наташи, имел состояние значительное. Этим значительным состоянием он был обязан своему родителю. Родитель Сергея Александрыча – кавалерист времен Бурцова, широкоплечий, полный, удалой, забияка, с огромными усами и с неменьшею самоуверенностью, создан был на соблазн прекрасного пола. Все барыни и барышни чувствовали к нему особенное поползновение и с волнением впивались в него любопытными очами, когда он, бывало, прокатывался мимо их окон на лихой караковой паре, сам подхлестывая пристяжную, изгибавшуюся в три погибели, или когда входил в комнату, гремя саблей, постукивая шпорами и покручивая свой густо нафабранный ус. Но более всех при взгляде на него билось сердце одной вдовы. И чаще всего встречались взоры ее с его взорами. Вдова эта была не простая вдова, – а вдова генерала и дочь – да притом еще любимая дочь – известного в то время своим богатством коммерции советника Пузина. Полная, слабонервная и сентиментальная, она пролиwała слезы над «Бедной Лизой» Карамзина и в то же время немилосердно таскала за косы свою горничную Лизку. Между кавалеристом и вдовой завязались письменные сношения. В письмах она называла его Эрастом, хотя его звали Александром Игнатьичем, и требовала непременно, чтобы он звал ее Темирой, хотя ее звали Палагей Васильевной. Она страдала и вздыхала и хотела, чтобы и он страдал и вздыхал, – и забияка-кавалерист покорился воле женщины. Забывая и ром и арак, с твердостью переноса насмешки собутыльных друзей своих, – он вздыхал, глядя на нее, меланхолически покручивая ус и живописно опираясь на саблю. Мало этого: он даже написал ей в альбом стишки, сочиненные его приятелем, которые, разумеется, выдал за свои:

Бряцай, уныла лира!
Покой свой погуби,
О милая Темира!
Я буду петь тебя.
Ах, может ли сравняться
С любовью что твоей?
За славою гоняться
Я не хочу, ей-ей...
Коль песенка простая
Понравится тебе,
Темира дорогая!
Вот вся награда мне.

Стишки порешили все: Темира не выдержала, разрыдалась, бросилась на шею к своему милому и сочеталась с ним браком. А Александр Игнатьич достиг своей цели, уплатил все долги и зажил в Петербурге великолепно и открыто, приобретя всеобщее уважение и сделавшись кумиром всех своих родных... Вскоре бог даровал ему дитя мужеского пола, которого в святом крещении нарекли Сергием. День рождения Сергея Александрыча был днем неописанной радости для его родителей, и с этого дня божие благословение, никогда, впрочем, не оставлявшее Палагею Васильевну и ее супруга, еще явнее стало обнаруживаться над ними. Несомненным доказательством тому служило, между прочим, и то, что ровно через два месяца после этого дня они приобрели за бесценок продававшееся с аук-

ционного торго великолепное село Куроедово, принадлежавшее какому-то промотавшемуся князю и по счастливой случайности находившееся только в восьми верстах от села Брюхатова, в котором родился Александр Игнатьич и где покоем, до всеобщего воскресения, прах его родителей. Куроедово, в честь Сергея Александровича, было тотчас же переименовано в Сергиевское.

Для того чтобы удобнее наслаждаться супружеским счастьем и спокойствием жизни, Александр Игнатьич вышел в отставку. Беспредельная любовь достойных супругов возбуждала в Петербурге во время оно всеобщий восторг и уважение. Палагея Васильевна никогда не говорила без слез о муже. «Это ангел, настоящий ангел! – повторяла она, – он обожает меня...» И в подтверждение этого рассказывала, как однажды горничная нагрубила ей и как Александр Игнатьич, узнав об этом, вдруг весь изменился в лице, побагровел и ударил горничную изо всей силы, так что она из одного угла комнаты отлетела в другой и чуть не разбила себе головы об угол печки...

О любви родителей к Сергею Александровичу и о воспитании его мы распространяться не будем. Довольно сказать, что на него не жалели денег. И когда Сергей Александрович окончил курс в университете, он зажил блистательно. Вскоре после этого родители скончались. Отец Сергея Александровича объелся устриц, а маменька не могла пережить его и последовала за ним в могилу. Сергей Александрович в двадцать семь лет сделался полным властелином имения. Смерть родителей развязала ему руки. Послужив немного и прожив года три в Петербурге, он вышел в отставку и поехал в деревню, чтобы собрать с крестьян оброки, расплатиться с долгами и потом отправиться за границу. За границей Сергей Александрович пробыл три года. В Германии на каких-то водах проиграл тысяч двадцать в рулетку, в Риме отдыхал от жизни и волочился на развалинах Колизея за какой-то русской княгиней или графиней, а в Париже содержал лоретку, ту самую лоретку, к которой, по его уверению, один из bel esprit Cafe Anglais написал знаменитый куплет:

Connaissez-vous dans la rue de Provence
Une femme, qu'on cite partout pour sa beaute,
Pour son esprit et pour son elegance?
Eh bien, messieurs, c'est moi, sans vanite...
Grande et brune a l'oeil noir,
C'est au bal qu'il faut me voir.
Je fais des malheureux
Et meme parfois des heureux...

Сергей Александрович вывез из Европы большую уверенность в собственные достоинства, несколько великолепных и поэтических фраз об Италии (порядочно устаревших в наше время), щегольское платье из Лондона и начало статьи: «О будущности России и об отношениях ее к Западной Европе».

Сергей Александрович имел мало общего с приятелем и спутником своим Григорьем Алексеичем. Григорий Алексеич был сын бедных родителей, которые заботились мало о его воспитании. Патриархальная их любовь к нему ограничивалась только заботой о том, чтобы он был сыт и здоров. Отец его даже был положительно уверен, что образование больше вредно, чем полезно, потому что сын одного богатого помещика их губернии, на воспитание которого потратили десятки тысяч, ничему не выучился и вышел негодяем, а другой молодой человек, сын другого помещика их же губернии, оставленный на произвол божий с тринадцати лет, сам, без учителей, всем наукам обучился, сделался благонамеренным и добропорядочным малым, собственными трудами добывал себе хлеб и впоследствии еще кормил своих престарелых и промотавшихся родителей...

Светло-русые волосы, завивавшиеся от природы, голубые глаза с задумчивым выражением, бледность лица, нерешительная и медленная поступь, рано развившаяся страсть к чтению – все это резко отличало Григорья Алексеича от всех остальных деревенских барчонков-головорезов, его сверстников. Григорий Алексеич не занимался играми, свойственными его летам, и гонял от себя прочь дворовых мальчишек и девчонок, которых маменька посылала к нему для забавы и которыми мастерски помыкали и распоряжались старшие и меньшие его сестрицы. Деликатная натура Григорья Алексеича приводила в немалое изумление его достойных родителей. Папенька, глядя на него, покачивал головою и пожимал плечами или иногда, в веселый час, залившись добродушным смехом, восклицал, обращаясь к жене своей: «А что, матушка... уж полно, мой ли это сын?.. Я что-то, право, сомневаюсь в этом! ха, ха, ха!..» Маменька, целуя Григорья Алексеича и осеняя его крестным знамением, говорила обыкновенно, вздыхая: «Нелюдимое ты мое дитятко, дикарь ты мой милый...»

Григорью Алексеичу уже было пятнадцать лет, когда один молодой, богатый и образованный помещик, ближайший сосед его родителей, обратил на него внимание. Иван Федорыч (так звали этого помещика) нашел в Григорье Алексеиче душу впечатлительную и поэтическую и притом большую любознательность. Жаль ему стало, что духовные способности бедного мальчика пропадают, лишенные средств к развитию, и ему пришлось в голову взять его к себе и заняться его воспитанием. Ивану Федорычу необходимо было какое-нибудь развлечение, потому что прелесть деревенской праздности начинала несколько тяготить его. Но слух о благодетельном намерении Ивана Федорыча достиг каким-то образом преждевременно до отца Григорья Алексеича, с прикрасами и прибавлениями, отчасти оскорбительными для его родительского самолюбия...

– Ах он, разбойник, вольнодумец, христопродавец! – восклицал, задыхаясь, отец Григорья Алексеича, – вишь, какую штуку отколол! Отнять у меня сына хочет – только!.. Да я лучше отдам его в свинопасы, чем к нему на воспитание, к душегубцу! Пусть свиней лучше пасет с подлецом Ермошкой!..

Но судьба Григорья Алексеича решилась вдруг и совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро отец его внезапно скончался. Дела по смерти его оказались в величайшем расстройстве. Положение вдовы было бедственно. К счастью ее, Иван Федорыч, которого покойный звал христопродавцем, первый явился к ней, принял в ее положении участие и упросил ее, чтобы она отдала ему Григорья Алексеича на воспитание. Вдова решилась на это, впрочем, не вдруг.

Большой старинный барский дом, отдельная комната, посвященная книгам и уставленная бюстами великих мужей древности; стол, заваленный брошюрами, газетами и книгами; лакеи, обутые, обритые и одетые прилично, хотя и смотревшие несколько мрачно и исподлобья; хозяин дома, обращавшийся очень тихо и кротко со всею дворнею, – все это приводило сначала Григорья Алексеича в немалое изумление. Но он недолго скучал по родительском крове и скоро привык к своей новой жизни, которая так резко отличалась от жизни его семейства. К удовольствию наставника, ученик оказывал быстрые успехи и развивался. Через два года Григорий Алексеич мог свободно читать по – французски и даже по-немецки. Он жадно и без всякого разбора принялся за чтение. Особенно нравились ему французские новейшие драмы и романы; но Иван Федорыч остановил его юношеский порыв. Иван Федорыч не терпел новейшей французской литературы. Он боялся, что она произведет вредное влияние на его питомца, и с особенным наслаждением вводил его в таинственный и мистический германский мир, так раздражающий нервы, так обаятельно действующий на юное воображение. Гофман, Тик, Уланд, Жан-Поль Рихтер были настольными книгами Ивана Федорыча. Действительная, практическая жизнь не имела для него никакой поэзии, никакого интереса. Высочайшим идеалом была для него рыцарская, средневековая Европа. Он бродил охотой в туманных, фантастических мирах и был совершенно глух и слеп для действительной

жизни – решительно не ведая, что делается у него под носом. Добрый и кроткий от природы, искренно негодовавший против всякого притеснения и насилия, он верил на слово своему управляющему-немцу, который в глазах его самым бесстыдным и наглым образом обирал и притеснял крестьян его, уверяя, что они благоденствуют. Четыре года сряду прожил он в деревне с намерением поправить свои дела, расстроенные еще его отцом и дедом, и в продолжение этих четырех лет не мог узнать положительно, ни сколько у него земли, ни сколько душ. Врожденная беспечность и лень широко развились в Иване Федорыче под благотворною сению деревенского быта. Любо и вольно было ему, в халате и туфлях, на широком восточном диване лежать целые дни с книгою Жан-Поля Рихтера в руке и с янтарем в зубах, изредка прерывая чтение или мечту ленивым криком: «Васька! трубку...» Одного только доставало Ивану Федорычу – человека, с которым бы иногда, за чашкой чая, с янтарем в зубах, пофилософствовать и помечтать... Но вот Григорий Алексеич подрос... Ему девятнадцать лет... с ним можно говорить о чем угодно: он понимает все; чего ж лучше? Надо заметить, что Иван Федорыч, первые месяцы с горячностью принявшийся за образование своего питомца, от непривычки к труду скоро утомился и предоставил его собственному развитию. Ученику нельзя было не увлечься примером учителя... Удобства праздной, барской жизни – соблазнительны; Григорий Алексеич обыкновенно так же лениво валялся по дивану с Шиллером, как Иван Федорыч с Жан – Полем. Григорий Алексеич по целым часам лежал на косогоре близ рощи и, мечтая о чем – то, следил за полетом жаворонка и прислушивался к его песне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.